

18+

Дарья Фроловская
Две трети волшебства

Творить добро — это честь



Дарья Фроловская

**Две трети волшебства.
Творить добро – это честь**

«Издательские решения»

Фроловская Д.

Две трети волшебства. Творить добро – это честь /
Д. Фроловская — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-507129-3

Данная книга представляет собой сборник из трёх произведений, написанных мною в разное время, но объединяет которые одна идея. Идея о том, что настоящие волшебники — это те, кто почитают за честь творить добро, и благодаря которым в нашем мире остаётся целых две трети волшебства.

ISBN 978-5-00-507129-3

© Фроловская Д.
© Издательские решения

Содержание

Изначальное имя	6
1	6
2	7
3	8
4	9
5	10
6	11
7	12
8	13
От Золотой поры. Роман	14
Предисловие	14
Часть первая. Портрет волшебника	15
XX37 год. День прощания	15
XX25 – 39гг. Вера. Хозяйка дома белокаменного	19
XX23 год. Барышня	21
XX61 год. Кому нужны артефакты?	24
XX31 – 37гг. Свой герой. Свой самый близкий друг	28
Часть вторая. Города больших дорог	30
XX34 год. На самой границе	30
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Две трети волшебства Творить добро – это честь Дарья Фроловская

*Отдельное спасибо Хельге Эн-Кенти, которая вдохновила меня
песней "Две трети волшебства" на создание произведений, которые
вошли в эту книгу.*

© Дарья Фроловская, 2019

ISBN 978-5-0050-7129-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Изначальное имя

1

Раздался стук в дверь; робкий, осторожный, очень тихий – так обычно стучится в мою жизнь счастье, которое я постоянно держу в страхе быть оговоренным.

Стук повторился; также тихо и аккуратно – а я всё думала о том, как замечательно я оправдываю свои поступки тем, что была счастлива. И за что я так со своим счастьем? С тем, чего мне постоянно очень хочется, а когда я его получаю – то хочется ещё пуще прежнего.

И ради чего? Или ради кого? Ради кого я оправдываюсь, оговаривая, возможно, самое лучшее, что может у меня быть; самый лучший подарок для тех, кто меня любит.

Моё счастье.

Стук раздался снова; я открыла.

На пороге стояло счастье.

Как всегда, просто одетое, с букетом ромашек в руках.

Но это было моё счастье.

Такое, каким создала его я.

Создала в моменты большой грусти, когда дождь за окном казался мне самым ужасным делом природы; создала, чтобы не быть одинокой; не быть одинокой тогда, когда все мои друзья играли на улице – там, где свободно гуляет ветер.

Поначалу счастье заменило мне всё; я делилась с ним всеми своими переживаниями, мы вместе строили замки из воздуха и удивлялись, что никто кроме нас их не видит.

Но потом я выросла – как я тогда считала – и рассорилась с ним; со своим счастьем.

Долгие шесть лет мы не разговаривали; но каждую минуту делили на двоих. Счастье по-прежнему знало все мои секреты, и, как и раньше, было мне самым лучшим другом. Просто мы не разговаривали.

Потому что я, «повзрослев», разучилась с ним говорить.

Но однажды случилось то, что должно было случиться. Я встретила человека, который вновь научил меня этому языку – самому первому языку на земле.

И тогда, обнявшись со своим счастьем, я стала подговаривать его разделить все наши сокровища с тем, кто позволил нам вновь обрести друг друга.

Счастье было не против.

Но против был тот человек.

Тогда я во второй раз потеряла способность говорить со своим самым лучшим другом. Я обрела новых друзей – тоску, ностальгию и неуверенность в себе.

Но счастье всегда было рядом. Всегда; каждый миг, когда мои новые друзья оставляли меня, ко мне робко присаживались счастье – и мы разделяли тишину.

Что было после? После прошло содержательных два года; содержательных на открытия.

И теперь мы вновь вдвоём – я и моё счастье. Мы снова делим тишину, но сегодня мой лучший друг наконец может обрести покой рядом со мной.

Потому что сегодня ноябрь, а в букете из голых веток я вновь вижу ромашки; прямо как в детстве, только теперь наши воздушные замки наконец обросли садами.

Садами из вечно белых ромашек.

2

А в небо улетали воздушные шары; они стремились пробить брешь в воздушной глади, но бессменно застревали в ветвях высоких берёз.

Я смотрела на человека, который вернул мне счастье; в глазах его играли свою музыку воспоминания, нахлынувшие при виде школьного вальса.

Я смотрела на этого человека и сердце моё сжималось от того, какими тёмными стали его глаза.

Моё счастье стояло по правую руку от меня; оно озабоченно смотрело на меня, понимая, что мне сейчас нелегко. Школьный вальс, возможно, был красивым представлением, но меня он никак не мог воодушевить или порадовать; для меня он означал одно: первый шаг к расставанию с тем, кто вернул возможность дышать полной грудью, не боясь вдохнуть слишком крепкий воздух.

Только моё счастье знало, сколько мне пришлось пережить, прежде чем я поняла, как дорожу этим человеком. Счастье всегда было рядом.

Несправедливо будет сказать, что оно потерялось; нет, оно всегда стояло по правую руку от меня. Но я разучилась разговаривать с ним; это случилось не внезапно, это было ожидаемо и закономерно – но оттого не менее горько было мне молчать; молчать, потому что я забыла все слова, которые понимало моё счастье.

С тех пор мы общались ощущениями.

Счастье всегда понимало малейшие изменения в моём настроении, и всегда видело корень зла; но глядя на школьный вальс язык не поворачивался назвать это злом; нет, это было добро.

Это – причина моих слёз.

Добро никогда не остаётся безнаказанным, узнала я после, когда прошло чуть больше двух лет. Тогда же я могла лишь лицезреть, как эта истина исполняет свой вальс прямо на моих глазах.

За добро ответом было мне молчание; потому что я посмела заговорить о нём тогда, когда человек желал лишь тишины и покоя. Но разве могла я молчать? Это добро разрывало меня изнутри, оно рвалось наружу, исполнить свою роль; свою роль в истории, которая стала фундаментом моего одиночества.

Но это не плохо; за свои крики о добре я получила хороший урок: о добре нельзя говорить на повышенных тонах. Урок – и тишину в подарок; ту тишину, о которой мечтают люди в моменты, когда за плечами множество таких историй.

Мне же хватило одной.

И это тоже не хорошо и не плохо.

3

Я любила так, как любят дети; оглядываясь назад я поражаюсь тому, что могла так любить.

Сейчас мне девятнадцать, но два года назад я была совсем ещё ребёнком; правда, тогда я так не считала.

Мне казалось, что только решительность на поступки делает человека взрослым. Лишь пройдя через собственные ошибки я поняла, как далека была от истины.

Я любила так, как любят дети; искренно, честно, абсолютно. Но мне было семнадцать, и меня, наверное, трудно было понять.

Тогда я столкнулась со стереотипом, что в этом возрасте и старше наставничества уже не ищут.

Да, я хотела иметь наставника; человека, который указал бы мне, что такое хорошо, а что такое плохо. Человека, который разделял бы при этом моё мироощущение. Даже сейчас, спустя два года и взглянув на всё совсем другим взглядом я не знаю, ошиблась я в человеке или нет.

Я любила так, как любят дети; но меня не торопились брать под своё крыло.

Возможно, это было правильно с какой-то точки зрения. Но ведь небо бы не свалилось на человека если бы он мне попытался мне помочь.

Так я рассуждала тогда, так продолжаю думать и теперь.

Осознавая, сколько горя можно было бы предотвратить, если бы я услышала два заветных слова – «всё хорошо» – я теряю все слова, которыми могла бы описать свои чувства.

Когда я спросила человека, почему он этого не сделал, он сказал, что не мог.

Не мог.

Я не думаю, что он сказал это безосновательно. Но для меня остаётся загадкой, почему.

Наверное, я всё-таки ошиблась.

Но не в человеке, а в методах, которыми пыталась достучаться до него. Не нужно было стучать в столь плотно закрытую дверь.

Поскольку всё получает тот, кто умеет ждать.

4

Спустя два года я стала задумываться о том, что прошлое нужно бы оставить в прошлом. И прежде всего, нужно было оставить в прошлом все свои обиды.

А они были, ведь без них не может обойтись ни одна история межличностных отношений. Сейчас мне, кажется, это удалось.

Потому я и пишу эту крохотную книгу – чтобы за потоком новых событий не стёрлись столь полезные воспоминания.

Чтобы поделиться опытом, приобретённым на собственных ошибках.

5

Сейчас я задумалась над тем, за счёт чего я держалась тогда; что не давало мне, падая, разбиться.

Ответ очевиден.

Вера в то, что всё будет хорошо.

И это тоже идёт из детства.

Ребёнок всегда верит, что всё будет хорошо; когда он понимает, что для этого нужно приложить усилия, он начинает взрослеть. А когда его усилия дают свои плоды, он становится взрослым. Так я повзрослела незадолго до своего совершеннолетия.

Очевидно, что поздно. Но бывает и позднее.

Тем не менее, я повзрослела.

И тотчас же обрела как аксиому, не осознаваемую прежде в полной мере, ответственность. Прежде всего – социальную. Что включает в себе ответственность человека перед обществом, ответственность не только за себя, но и за других.

Я была рада обрести её; я всегда любила ответственность, пусть не всегда мне удавалось достойно пронести её на своих плечах. Меня сбивали с верных решений страхи, чей взгляд всегда нехороший, а глаза черны.

Смотрела ли я в глаза своим страхам? Не могу сказать. Я даже не знаю, как человек понимает, что сделал это, и может ли он это помнить.

Сколько себя помню, меня всегда учили со страхами бороться. «Боюсь, но делаю» – говорили мне. Но всегда ли это правильно и приводит к позитивным последствиям?

Думаю, что нет. Но как тогда понять, когда стоит переступить через свой страх, а когда стоит прислушаться к нему и остановиться?

Может, наострив все свои органы чувств?

Слышать, видеть, ощущать – так можно избежать неосознанного шага в пропасть. Увы, два года назад я избежать его не смогла.

6

Ум не боится от совершения глупостей; ведь глупостью может стать ошибка, совершённая по незнанию. Но, тем не менее, даже эта ошибка будет глупостью, если человек шёл на неё осознано.

Так и человек, обладающий умом достаточным для того, чтобы позволить своим чувствам жить по всем законам этого мира, идёт на совершенную ошибку, подарив любовь и сострадание тому, кому такое отношение с его стороны кажется чем-то неоправданным и неуместным.

Делая подарки тем, кому мы не нужны, мы задеваем собственные чувства; но как разобраться, как понять, кому можно дарить подарки, я тогда, два года назад, не понимала.

А сейчас, два года спустя, знаю только один способ: получить подарок первой. Так я буду знать почти наверняка, что мой ответный жест не будет лишним. И чувства свои я сохраню, не задев их самолично.

Но подарком со стороны окружающих может являться почти всё, чем руководствуется добродетель. Кто-то подсказал вам в автобусе, на какой остановке выходить, кто-то подарил вам яблоко, потому что Спас, кто-то уступил вам дорогу в метро.

И тогда, благодарностью руководствуясь, мы можем сделать те подарки, которые точно оправдаются; которые не будут пылиться на самых дальних полках.

Мы можем сказать «спасибо» и «спасибо большое».

7

На часах 9:43, а я думаю о том, какая я счастливая, что могу спать по 6—7 часов.

Какая я счастливая, что в моей жизни наступила пауза – и что она заканчивается, потому что всему свой срок. Всему свой срок – только память вечна. Она сохраняет отражения наших переживаний в живых картинках, которые, как случайные фотографии, не заменишь постановкой, складывая историю такой, какой её хотелось бы нам видеть.

На часах 9:46, а я думаю о том, какая я счастливая, что могу написать историю такой, какой она является, излив омут своей памяти в самом чистом виде.

Моё счастье в том, что я имею; я знала об этом и два года назад, но, не имея возможности поговорить со своим счастьем, чувствовала себя намного более потерянной, нежели счастливой.

Но даже в моменты самого большого горя радость оттого, что я жива, и что окружает меня именно тот мир, который я знаю, держала меня в некотором равновесии с реальностью, не позволяя мне исказить её ни словом, ни поступками.

И в этом тоже было моё счастье; его рука мягко касалась моих волос, когда хотелось мне забиться под одеяло и ничего не знать; его голос согревал и успокаивал меня в минуты гнева – гнева, прежде всего, на себя. Его имя было первым что я узнала; изначальное имя, которое сопровождает меня во всём, всегда.

Счастье.

8

В глазах моего счастья всегда отражались мои мечты; самой заветной из них было стать волшебницей; с возрастом я стала трактовать это слово иначе, но желание оставалось неизменным.

Что же значит быть волшебницей? Два года назад я считала, что волшебники – это те, кто дарит добро окружающим. Те, кто делиться всем лучшим, что имеет, не теряя его; те, кто, ошибаясь, не перестаёт идти; идти к свету.

Со временем я поняла, что свет – это очень конкретное понятие, которое имеет множество названий.

Свет – это мы, люди. Это трава под ногами, это опавшие листья и собака, лающая на рассвете.

Идти к свету – значит, идти к себе. К своему лучшему проявлению, к изначальному имени своему, которое даруют нам родители.

К счастью.

И сейчас, смотря прямо в глаза своему счастью, я понимаю, что оно принадлежит не только мне. Оно соткано из поступков множества людей; из их участия и сочувствия.

Таков характер моего счастья.

Я больше не вспоминаю прошлое, но по-прежнему дорожу тем человеком, который подарил мне возможность говорить с моим самым лучшим другом; но дорожу уже иначе, дорожу не так, как ребёнок дорожит теми, кто участвует в его судьбе и закрывает его от тяжёлых капель дождя, а дорожу так, как должно дорожить всеми окружающими.

Так, как завещала добродетель.

ноябрь 2019

От Золотой поры. Роман

Предисловие

Нельзя требовать сочувствия к миру и красоте его; ко всему, что живёт и трепещет, что маленький мир внутри себя открывает; но какова же радость того, что никому никак нельзя избежать этого сочувствия!

От радости наблюдения до радости понимания; от мельчайших радостей палящего солнца до наибольшей радости вдыхания весны, лета ли, осени ли, зимы. От начала года к завершению, от долгих скрипучих часов жаркого дня до коротких световых пор спелой выюги; от легкого шуршания травы под ногами до тихого приближения первых рассветов зеленыю на усталом морозе; и это ещё не всё.

Маленькие островки цветущих даров жаркой поры возле скамейки, обвитая вьюнком ножка её и собранные в гроздь пучки вездесущей осоки; радость от того только, что можно перевести на них взгляд усталый, что можно любоваться ими над бесконечностью цветов каждого лета, радость от осознания живости и изменчивости красоты этой тёплой поры в каждом дне её, радость от возможности запечатлеть навсегда в рисунок или карточку, написать в памяти картиной или забыть навечно, но ощутить в полной мере весь мир в этом моменте природы; радость от возможности осознать это.

Радость от каждого момента изменения природы и момента вечности её в нём; от присутствия всевластной силы живого везде и за каждым человеком, где бы он ни был; и где бы он вдруг, неожиданно и невпопад не оказался – всегда есть радость чувствовать себя на земле твёрдо, потому что одна земля есть только – человек по одной земле ходит; но и радость от узнавания земли единой в новом, прежде для людей неизведанном, уголке её.

Радость эта от всего окружающего мира, от всего, что насыщает его.

Радость от неизбежного сочувствия к нему, которое нельзя потребовать и которого нельзя избежать, от которого нельзя забыть; радость от сочувствия ко всему окружающему миру, потому что каждый человек – часть его, и потому всё, что окружает его из года в год жизнью земли его, из лета в лето, из зимы в зиму – родное ему.

Это радость от безусловного сочувствия к безусловному.

Часть первая. Портрет волшебника

*Придумай дом. Представь его
Хорошенько. Хозяев узнаешь. А следом
И гости незамедлительно подтянутся.
И останется тебе только встретить —
Как следует встретить – встретить
Своих персонажей.*

Портрет персонажей – случайных наблюдателей, каждый из которых однажды, один только миг – но был необычайно близок к своему герою, великолепный образ чей был непостижимым; портрет всех тех волшебников, которые постигли момент своего бессмертия. У каждого из которых была своя пора Золотая – единая на всех.

О тех, чей образ мыслей совпадал со всеми законами этого мира.

XX37 год. День прощания

*Тяжко. Тяжко перестраиваться к чему-то
Новому. В особенности – когда рядом
Разбитое старое. Когда рядом разбитое
Старое, неотвратимо желание вернуться
К нему и попробовать, попытаться его
Починить – еще и еще раз.
Но прошлое уже не отстроить.
Но прошлые вещи всегда будут лучше,
Пока будет в них хоть частичка души —
Хоть какая. Разве я не права?
Разве мы не боремся за новое, за то,
Чего нет, за свершения наши —
На свершения эти идем разве не
Мотивируя старым, прошлым,
Ушедшим?
Разве без прошлого будущее стало
Будущим? Оно было бы, разве что,
Самым началом настоящего нашего.
Того настоящего, что мы знаем.
Но не стало бы будущее тогда —
Достигнутое – свершением?
Понимаешь?
Я думаю, что понимаешь.
Но нелегко и приниматься за старое.
Но чтобы идти дальше, вперед, нужно —
Просто необходимо – научиться
Возвращаться. Запомни это хорошенько, —
Сказала она и добавила:
– Милая девочка.*

Белый дом у самого подножия гор, выполненный из векового камня, который, казалось, и составлял стены гор, что возвышались над ним. Слабый свет белого солнца, которое, кажется, нерешительно касалось им макушек великих деревьев, что свободно и неизменно кружили ветра позывы, как бы играя им, как бы зазывая в дали несметные путей своих, что носила земля – которыми земля была прошита насквозь, не оставляя ни единый свой островок неизве-

данным; по этим путям ходили герои, оставляя свои мечты нитью путеводной на ткани миров, владея бессмертием, единым для всех – в один только миг, одним лишь моментом.

В настоящий момент владеть только можно бессмертием – тому предстояло еще научиться ребенку, чьи руки к стеклам примкнули; той девочке, которая, едва дыша, всем своим существом, всем вниманием обратилась сейчас к самой широкой тропе, ведущей к их дому, который холодным светом по белому камню встречал опоздавших гостей – опоздавших совсем, совершенно, прибывших тогда уже, когда провожали хозяева каждому здесь знакомых гостей других.

Те, кто был друг другу другом давно – а таких было только двое из приглашенных в белый дом в этот день – так и увиделись, и ровно столько было им времени, сколько хватило на то, чтобы сказать пару слов на прощанье и ничего не обещать, но – задать самый главный вопрос – и на него не отвечать под разумным предлогом того, что «пора».

Но этот вопрос был ответом на желание каждого, кто был здесь в этот час, в эту минуту, вернуться сюда – спустя время, спустя много лет – хотя бы раз однажды вернуться.

Но тем, кому не хватало и прежде времени даже на то, чтобы извиниться, чтобы проститься, чтобы друг друга услышать еще с полуслова – чтобы не на первом же слове себя обрывать – им пришлось быть опоздавшими в этот час, в эту минуту; и вновь не застали они друг друга, и вновь друг без друга ушли, поглощенные мыслями о том, что когда-то, когда-нибудь, они вернутся к этому дому, перешагнут порог его снова, и – обязательно встретятся.

Пора. Пора было расставаться со всеми, пора было уходить. Золотая пора завершилась, когда можно было никуда не спешить – когда не приходила мысль об этом никому, совсем никому – когда каждому был известен, доступен, когда каждый владел им – секретом бессмертия. Когда каждый жил настоящим моментом, когда каждому был он лучшим, из всех – лучшим, который только можно представить; когда ни один не пытался ничего иного себе представлять.

Когда лучшим другом своим замечали они как раз того, кто наименее был похож на него – по идеям своим, по взглядам и принципам; но таким образом совершенный прагматик другом себе обратил необратимого скептика – им было, о чем говорить. Но это была разница интересов, разница предпочтений, и был в этом случае единый менталитет, и он-то связал крепче любых обещаний.

Казалось бы, как?

А ведь именно поэтому каждому хотелось вернуться к белому дому у самого подножия гор, под окнами которого кипела пора прощаться.

Прагматик со скептиком не сказали друг другу ни слова. Все то время, что было отведено им – хозяину дома и гостю его, его лучшему другу – они провели в библиотеке, а что обсуждали, о чем говорили, известно было разве что только пожертвовавшей минутой своего драгоценного времени хозяйке дома, у которой шуршал разговорами наверняка очень похожего содержания свой кружок, этажом ниже.

А время ее, хозяйки дома, подходило к концу – отведенное ей она израсходовала опрометчиво и стремительно, но, как и положено своему имени – Вера; Вера оставалась с мужем и дочерью, но на деле была как будто одна. Она растеряла доверие к каждому, и не могла при том удержать малейший порыв свой с собой наедине – она обязательно, обязательно кому-нибудь бы из старых друзей и рассказала о нем, с кем-нибудь поделилась – но не получала должной отдачи, не получала ее вновь и вновь, и с каждым разом все меньшим временем обходился ее верный слушатель, которому предана она сама была бесконечно, и все кратче был его ответ.

Завершилась стремительно Золотая пора Веры, прожгла она ее, едва только затронув момент своего бессмертия.

Но пока что все только прощались, и молчание двух друзей, скептика и прагматика, нарушалось косыми взглядами наблюдательного любопытства в сторону шуршащих словами, намеками и даже попытками клятвенных обещаний стоящих чуть в отдалении барышень. У самого порога, на первой ступени состоящей всего из четырех таких – белокаменных, широких – лестницы стояла девочка лет пяти, спустившаяся незаметно для всех.

Она держалась левой рукой, стоя с необычайно прямой осанкой и свободно расправив плечи, за основание широкой посуды, на которой лежал рядом с ней прямо-таки громадный такой же каменный шар; худенькая, маленькая, с пушистой копной рыжих волос она казалась чужой здесь, она совершенно не вписывалась в эти стены, очевидно плохо ложился холодный свет белого солнца на ее плечи, руки и даже на подол ее абсолютно черного платья; платье необходимо было заменить, и сделать это следовало как можно скорее. И хозяйка дома уже заказала материи – да побольше – того искреннего черного цвета, которым были обведены на портрете волосы их далекого предка, которым недавно еще любовалась их старшая дочь, очарованная красотой изображенной на нем девушки, и которым отливали под тем же солнцем и ее собственные – Веры – локоны, высоко закрепленные изящной резной шпилькой из светлой кости.

За несколько дней пребывания в этом доме девочка осунулась, цвет лица ее стал бледнее, а взгляд становился все беспокойнее, все тревожнее сжимала она все, что ни попадалось ей под руку; она было дочерью женщины, которая не верила в талисманы, и потому поддержку брала от каждой случайной вещицы.

Вещицы. К вещам у нее было особое внимание, несравнимое даже с тем, каким встречала она приход солнца на сторону ее любимого места в том большом доме – у самого окна, в самом углу большой комнаты, в которой принимали гостей, и которая вся была заставлена шкафами с книгами и стопками прочей бумаги, завернутой в другую бумагу – чуть плотнее той, в которой отправляют письма – и повязанной крепкой холщовой нитью. И все. Без каких-либо пояснений или хотя бы цифр черной пастой, которая уже дважды этим утром была разлита кем-то, кому точно нужно было зачем-то зайти в эту комнату и облокотиться на письменный стол, у самого края которого и стоял глубокий сосуд с соответствующим содержимым.

В первую очередь разлила его Вера. Она надеялась вывести девочку в большую залу, где уже собрались некоторые из гостей; но безуспешно.

Второй раз на совести у ребенка – который затаился в углу, вжавшись в стенку, так что за свободно спадающей занавеской едва определяемого светло-алого цвета со стороны входа и письменного стола соответственно ее и вовсе не было видно – а после, выждав какие-то едва ли не самые странные пару секунд, которые только у этой девочки были, бросился вслед за матерью, и – обронил неубиваемый, бездонный, кажется, сосуд с черной пастой.

И теперь, все время, отведенное им, проведя в отдалении от нее, дочка смотрела на мать, не сводя с нее пристального взгляда больших серых глаз – переполненных осознанной пятилетним ребенком тревоги настолько, насколько тому способствовали приходящие к нему ощущения – когда мать ее, маленькая светловолосая женщина, оживленно о чем-то беседовала – скорее, рассказывала – с одним из опоздавших гостей – как будто она давно уже собралась уходить, и, можно подумать, что уже завтра вернется.

Стоя лицом к ней, девочка ее не узнавала. Она была все та же, с которой прожил они, пробыли они все время, что было у них до того, как настала Пора Прощаться; это была все та же беззаботная, живая, очень живая, шустрая, чем-то неуловимым обладающая и им очень привлекательная маленькая женщина. Которой совсем не противоречило то, что она сейчас, через минуту, через две, оставит, быть может, навсегда, своего ребенка, которого, безусловно, очень любила, и с которым она была счастлива – они вдвоем, вместе были очень счастливы.

Она не узнавала в ней ту женщину, которая ей не отвечала; от которой она спряталась за занавеской, и за которой бросилась вслед, уже не отозвавшись, не подойдя, сама не ответив –

и – проклятая паста, проклятая черная паста разлилась вновь, и – как же это – задержала ее, стала предлогом ей, что она не окликнула, не догнала, не добежала до нее.

Она не узнавала в ней женщину, которая сейчас не оборачивалась, не оборачивалась – чувствуя ее взгляд на себе, чувствуя наверняка.

Она не узнавала ее – и непреодолимо, казалось, было желание броситься к ней – прямо сейчас – окликнуть, позвать, подойти, за руку взять, и наконец обнять.

Но не могла сдвинуться с места.

Она не узнавала ее.

Она не узнавала.

Все те люди, что были у нее перед глазами сейчас – они окружали ее, сколько она, девочка пяти лет, себя помнит; но она не узнавала их. Никого, ни одного. Не за кого было ей зацепиться, не за кого было держаться на слове; и ни в ком, ни в одном из них она не узнавала теперь героев, которых знала с той самой Золотой поры.

Да какие у ребенка – в пять лет – могут быть герои?

Оказывается, могут быть.

Ее мать держала на руках младенца – это была ее сестра. Она появилась на свет всего день назад, и уже покидала родные края. Покидала, возможно, навечно. Собиралась ли их мать возвращаться? На самом деле, когда?

Увидит ли девочка эту сестренку, которой не знает и имени?

Но они перебрали много имен. День и ночь, каждый вечер, с утра – когда еще солнце только восходит на самой границе неба и земли, и бескрайний океан пушистых лесов еще укрыт тем же холодом, которого удавалось коснуться девочке этой, только по саду пройдя – а может, и из окошка, только лишь руку свою опустив чуть поглубже в прозрачный туман. Туманы здесь низкие и очень холодные. Такие же, как и солнце, и точно как камень, к которому прижалась маленькая фигурка с копной рыжих волос – и совсем не вписывалась в эти стены.

Наконец, она услышала, она прислушалась к тому, о чем сейчас ее мать говорила. Говорила о спицах в колесах, которых стоит остерегаться ему, опоздавшему гостю, потому как по известным причинам его повозку не успели проверить; а подставлять их было кому, но отчего-то больше всех был этим обеспокоен как раз этот друг, который многозначительно и как-то очень быстро, совсем неожиданно запрокинул голову к небу. Девочка последовала его примеру.

Облака плыли – так, что мчались; мчались, спешили и все уходили куда-то вдаль, куда-то за границу, где очень скоро окажутся все они – все те, кто держит путь прочь от белого дома, все те, кому удастся преодолеть его своевременно, в кратчайшие сроки. Все те, чьи повозки направлены вправо, к раздольной дороге, что в леса гор уходит смело – а прямо на ними, прямо над ней спешат облака – к новому небу, укрывать новое солнце, освещать им пути других героев, еще неизвестных девочке этой, которое под другим солнцем ходят и, может быть, оно там теплее.

Девочка не заметила, сколько еще прошло минут до того, как взметнулась пыль под копытами десятка лошадей; до того, как заключила ее в объятия маленькая светловолосая женщина, когда дочка ее не услышала, что же она сказала ей – тихо, на ушко.

Девочка заглянуть хотела еще в глаза сестренки своей – какие – светлые, голубые, как и у матери, как у нее – большие?

Заглянула. Чужие.

На какой-то миг ей показалось, что лучшая радость – если бы девочка эта, этот ребенок, на руках у хозяйки белого дома осталась, но чтобы мать к ней не прикасалась, чтобы их мать к ней не прикасалась.

Но фигурка маленькой светловолосой женщины изогнулась и утонула в глубокой спинке повозки; и вдруг – на прощанье еще ей взмахнула рукой, очень быстро, слишком быстро, чтобы запомнить этот момент и удержать его в надежде на то, что мама к девочке этой вернется.

Одна за другой уходили повозки вглубь горных лесов, куда уносили уже облака все блистанье теней и бликов волшебных, которые только что, мгновение назад, озаряли надеждой и светом родным, знакомым, уютным и теплым, площадку перед высоким строением из белого камня, на котором, казалось, годы не оставляют следов.

И третья сотня лет умчалась куда-то туда, вправо, за леса горных вершин, куда уходили самые близкие и дорогие, родные люди, оставляя друзей своих, семью свою, в этих стенах холодных, до боли знакомых, где хранилось и береглось на каждой ступени заветное желание каждого, исполненное эпохой их Золотой поры.

Но все они знали секрет бессмертия. И потому не могли оставаться здесь больше.

XX25 – 39гг. Вера. Хозяйка дома белокаменного

Мы не будем говорить о героях потерянных.

Мы будем помнить о героях спасенных.

В мире, где каждому известен рецепт бессмертия, все находится в постоянном, периодическом, бесконечном изменении. Но если была бы возможность взглянуть со стороны, с такой высоты, когда и горные цепи ручьями кажутся, то можно было бы заметить, что мир этот по кругу идет, по кругу и расположен и все, что ни происходит в нем, все, чего ни касается он, все, на что бы ни шли герои его, и все, что им еще недостижимо – все это кольцом опоясывает его непрерывным.

И если бы кто-то когда-то однажды задумал вырваться из этого круга, то поджидало бы его тут же то же самое разочарование, то же самое прозрение и тот же самый ответ был ему награждением, с которым уже повстречались герои былых эпох и герои эпох предстоящих.

Как повторялись из раза в раз чужие взгляды в поступках родных и близких своих, как находили ответ на загадки отцовские в книгах, рассказах, в историях, воспоминаниях несоизмеримо далеких сейчас персонажей совершенно других, прежних миров – так же и узнавали в лицах героев былых эпох друзей своих преданных.

И как бы ни находили ответы, и как бы ни восхищались им вслед, и как бы следы их не искали по всему свету и в пределах дома родного – все также молчаливы были портреты, все так же манили они в неизвестность – их взгляды, казалось, застывшие только на миг, и этим мигом закрытые, словно зеркалом плотным за гранью веков, памятью лет все быстрее бегущих; их имена, что звучали несоизмеримо красивее; и чьи судьбы, казалось, еще не закончены – они звали шагнуть прочь, правее с проклятого круга. И каждый раз, каждый миг находился такой потенциальный герой со своей историей, со своими наставниками и бесчисленным множеством возможных путей – попыток избежать единой участи выходцев поры Золотой, прекратить этот путь короткий обязательный для каждой эпохи, ослепляющий пламенем, сгорающим каждым мгновением бессмертия своих героев.

И костер для очередного героя, для того, кто выпал из круга, кому не нашлось место в проклятом кольце – кому не подошло оно, кому пришлось ни тесно, ни уютно, ни тепло, ни темно, но невыносимо было оставаться при нем – закладывался долгие годы, каждым моментом, каждым порывом его в этом же белом доме – еще когда он не знал руки девочки рыжеволосой на стенах своих.

Особенно горячим пламенем, ослепляющим и неукротимым ни минутой пожара, ни ветром, ни собственной мощью и высотой столпа своего была Вера. Как только перешагнула порог она этого дома, так тут же зарделся первыми искрами огромный очаг; как только назвал ее

прагматик хозяйкой, как только сделалась эта обитель ей домом – обитель, за три сотни лет не встречавшая смерти в стенах своих – так тотчас же дорога ее героя осыпалась первыми тревогами и сомнениями; а меж тем, для каждого, кто представлен был этому дому в ту пору, герой был желанным и обласкан был по первому слову поддержкой и неутомимой надеждой, которой еще пути не обозначены и цели которой еще не видны, не ясны и не названы – которой встречают от каждой поры всех героев, посылаемых кольцом нерушимым для очередного подвига их, поступка такого неоспоримого, который бы воодушевлял стремиться к нему и не повторить же при этом, а все, все исправить, все устроить – точно так, как предшественником было задумано, точно по своему усмотрению, точно все поменяв – потому что на каждого находились и другие герои, что делились мудростью и последователью, и идеалу его прежнему неизвестной.

Какой ли хитростью Вера была этому дому, но была она тем персонажем, лучше которого подыскать было трудно и почти невозможно, но за которого никто не болел ни душевно, ни интересом, ни долгом, ни договором; которому ни один не желал исполнения заветных желаний и достижения такой светлой и безнадежной любви, которая бы сделала ее счастливой; ей даже ума никто не хотел, хот я в нем ей уж точно не было недостатка.

Она была такой хорошей фигурой, что даже зависти не вызывала; но при этом как-то очень мягко и обходительно требовала к себе уважение – и получала его; и при всем том каждому как поперек горла встала. Один лишь прагматик, который и привел ее в дом, с каждым днем, с каждым разом, словом и взглядом друга недовольным удовлетворенно замечал – да, она очень полезна – и еще более того пригодится.

Было в ней что-то такое, что можно и хотелось использовать, и что успешно питало окружающих ее людей при всем ее остром уме и проницательности, при воле такого характера, с которой можно только родиться, которую невозможно, как бы не хотелось и не старалось, сколько бы не прикладывалось к тому усилий – но которая оставалась бы в таком случае – в любом случае – недостижимой, и которую ничем же не перебить и обратить против носителя, против одаренного ей и несущего по силе своей.

Вера правду всегда говорила, не церемонясь, не лицемеря и не стесняясь, и без страха за ответ, который могла бы и должна была за нее получить; она действительно умело с правдой обходилась, что проявлялось очень просто – правда не мешала ей. Никогда.

Чем, в особенности, и была лучшей партией для Сифрея, для прагматика совершенного. Который правдой и неправдой обходился каким только образом.

Она была чем-то очень правильным, очень деятельным и очень хорошо – когда-то – знакомым. Она ни в каком случае не оставалась сто ять в стороне и не позволяла себе отмолчаться даже тогда, когда, в общем-то, решение того, как дальше идти и с чем быть, уже было принято, взвешено и обдумано; и очень редко, крайне редко что-то лишнее сквозило в ее словах, жестах и исключительных для нее случайных порывах, которые тоже всегда приходились по делу, и толку с которых было, быть может – и очень часто так и выходило – гораздо больше, чем со всех планов, порядков и ею же наведенных маршрутов; самыми прямыми подсказками и сигналами верными, знаками выходили все ее порывы случайные, все ее подозрения, внезапные изменения в собственных же и общих идеях – а она умела быть частью общего, она умела делить, делиться и разделять.

Она всем казалась уже очень опытной, хотя едва ли кого-то меньше терзали события, которые неизбежно происходили по давно уже отработанной и максимально изученной схеме – пути героев – которых приближение заранее было известно и все исходы которых, казалось, были предreshены.

Но ей ничего не казалось. Она наблюдала – очень внимательно – и что-то еще старалась всегда предпринять, при каждом их шаге.

А кто они были? Все – наблюдатели.

Некоторым повезло еще быть, с некоторых пор, предсказателем – когда следующую развилку событий устраиваешь уже ты, мотив своим или ошибкой, согласно планам своим и выходя вон из знакомых, привычных уже себе рамок, нарушая порядок родной и исправно же вас берегущий, и ведущий все со стороны по тому же пути, по которому ходили герои – но нет; вам надо больше, вам хочется ближе, и, быть может, чуточку быстрее расстояние преодолеть до следующего шага – а потом после, и снова, и снова; но это уже надо уметь.

Вера же отличалась открытым смыслом – по сути, она им и была – всем им, каждому, кто был познакомлен с белого дома всегда полупустыми, холодными залами. Хотя...

Хотя нет, как раз в ту пору, когда Вера хозяйкой была, залы блистали и были согреты – все до единой – теплым золотым светом по стенам своим едва желтизной отливающим и таким же образом свет тот отражающим, которым же лучи его перебирались с каждого предмета в комнате одной – и на каждый из тех, что за стенкой, и на каждый из тех – наверняка – что этажом ниже; прямо до порога, прямо до двери – и об нее разбивались, потому что за пределы дома выйти уже не могли.

Снаружи стены были и оставались все теми же холодными глыбами белого камня – но шар резной, казалось, обласкан был более холодным солнцем, чем прежде, чем раньше, чем после и до; все, все звуки тогда разбивались и переплетались в единое чудесное полотно ощущений о том, что как в сказке жилось им – всем тем, кто был рядом, кто был ей знаком.

И все же чем-то она не смотрелась, в созданную же своими руками пору Золотую не вписывалась, было на счет ее, ее образа и персонажа какое-то неизгладимое ничем противоречие; и это сказалось. И в первую очередь на героя той поры.

На героине.

XX23 год. Барышня

*Не там ли —
На самой границе, где любая вера
Без следа рассыпается мелкой дрожью
По черной земле, утоптанной
Потерявшим в один лишь миг
Бессмертие свое
Героями своих эпох —
Не там ли однажды объявится
Новый герой – герой своей Золотой поры?*

Однажды летом под мрачным небом, то и дело грозящим разлиться лихим дождем, шустро и совсем незаметно маленькая, маленькая девочка шуганула проходящую у нее на пути по дороге песчаной белую кошку, и в миг лишь один пересекла то расстояние, которое отделяло ее до следующего дома – такого же низкого и небольшого бревенчатого строения, которые обступали ровными рядами с обеих сторон широкую тропу убитой земли, что казалось, как камень уже расстилается вдаль, вдаль и далеко еще до центральных ворот.

В этих домах почти не было книжек, и единственной возможностью было ухватить их – по одной, разумеется, по две на руки никогда не давали – у приезжих, пришлых господ, которых изгнали с родных земель за некие свои убеждения и многообещающие идеи.

И доставляли всем экипажем, с парой чемоданов и неисчислимым множеством мелкой поклажи – жадный народ, как тут же подумали и уверовали коренные жители маленького селенья, одного из таких же маленьких селений, что находятся почти у самой границы, почти у края, почти у обрыва; а дальше – по которому мост – и дальше, правее, земли чужие. Земли невиданной красоты по рассказам и домыслам; земли других героев, переполненные каждой тропой их легендой, испещренные их путями.

Приезжих, сосланных в эти земли гостей, обязательно сопровождали двое одетых по форме нарядной, но самой практичной, какой только можно было форму нарядную, едва ли не парадную вообразить и устроить; в кафтанах темного синего цвета, обшитых нитями под серебро они привлекали внимание девочки раз за разом только уже потому, что напоминали героев с портретов из одной из без того редкой книжки, которую посчастливилось ей держать в руках и увидеть, увидеть всего лишь раз и на пару минут – но хватило этих минут и на то, чтобы увидела девочка самую красоту и неизгладимое впечатление от такого уверенного синего цвета, под лица изображенных при нем персонажей.

На этот раз они сопровождали и почтительно провожали барышню до того тоненькую и низкорослую, что сошла бы она не более чем лет на десять старше той девочки приосанившегося подростка; но до чего же шустры ее движения, до чего же не сочетались, не шли легкие и неуловимые ее жесты к большим и ярким, ярким, почти желтым глазам на маленьком светлом ее лице; но было в ней, во всем ее облике. Что-то очаровательное, что-то такое, отчего невозможно было отвести взгляд, скорчив при этом гримасу недовольства и даже легкого, безобидного совершенно смеха; было в ней что-то и умильное, и неприкосновенное, недосягаемое.

Она не обращала на сопровождающих ее конвоиров никакого внимания; а кавалеры же были ей очень заинтересованы и совершенно по сторонам не глядели. Они словно что-то высматривали или хотели высмотреть, глядя на нее во все глаза – девочка, наблюдающая эту картину с совсем близкого расстояния, ничего подобного не видела прежде, хотя и росла, наблюдая раз за разом новых гостей, коих привозили все чаще и чаще – и все с большим сомнением на лицах и в каждом движении выдающим себя провожали их кавалеры.

Но с этой барышней все было иначе – складывалось впечатление, что привезли не того, кого надо. Или, скорее всего, совершенно иначе себе представляли того, кого надо было привезти.

Действительно, что делать было здесь это очаровательной девушке? Никакого намека, никаких странных взглядов, ничего, что вызывало бы хоть малейшее подозрение, не было в ней; но вела она себя так, будто домой приехала – будто бы ее любезно согласились подвезти, а не подвели самым некрасивым, который едва ли можно назвать как-то иначе, если не лицемерным образом к порогу небытия...

На границе – на самой границе – остывала вера в любые идеи, рассыпались любые планы и от самых смелых, самых решительных желаний не оставалось и следа, кроме неизгладимого следа черноты на бледных лицах опустошенных до дна их носителей, опустошенных тем, чему они были наиболее верны, чем они – если не все, то очень многие – жили и жаждали, отчаянно желали жить; откуда вдруг вызывались сомнения, самые разные и дурные сомнения, самые безумные мысли вдруг докучали, и не отступали, и не отступали, и не оставляли, и не оставляли, и не оставляли гостя самого волевого, совершенно уверенного в своих силах, а если не в силах – то преданных вере, вере своей и себе же, прежде всего, себе.

Такой легкости, как у барышни этой, не замечала девочка ни у кого здесь, даже у коренных обитателей этой черты – коих было мало, и точно их то отличало.

Но за этой чертой была и другая бездна, что оказывалась лучшей страховкой плану тому, по которому сопровождали сюда всех заблудших волшебников – или, напротив, подающих такие идеи, на которые мир еще, казалось, не был готов – не могло здесь возникнуть силы к отмщению, и не было возможности – достаточного желания – начатое завершить; и не было единомышленников ни у кого.

...А месть, как известно, отчаянием оглушая, весь мир к вам обернет; и в такой момент действительно весь мир будет ваш. Лишь на миг – но ваш. И в этот миг, за этот миг – кто знает, как сумеет воспользоваться им, этой возможностью и знанием этим очередной оскорбленный, отверженный герой.

И перед лицом этой бездны еще не было таких смельчаков, таких безумцев, которые бы весело ступали на землю самой границы их мира – и переступали ее; и переступали порог храма, где отрекались от... от самого ценного, самого верного, самого последнего шанса на спасение – сами. Сами отрекались, сами прощались, сами.

А она – эта барышня – будто порхала; движения ее были предельно понятны, не было в них никакого смысла потаенного или двойного дна во взгляде его, нет; она с любопытством озиралась по сторонам, и не останавливалась ни на чем, ни на одной детали, стараясь захватить всю картину в целом и сразу; и окружающий ее мир словно дрогнул, не выстоял перед таким решительным несовпадением интересов и пошел ей навстречу – выглянуло солнце, настоящее теплое солнце, которого даже у самого подножия у гор, у самой столицы, на священной земле почти никогда не бывало; выглянуло солнце.

Лучи заботливо подводили наблюдательную девочку обратиться взглядом по сторонам, поглядеть, какими стали дома их в новом свете – освещаемые им для многих впервые; шепот самых прозорливых обращал внимание близстоящих на землю, под ноги – земля казалась ярче и ближе, ближе, намного ближе.

Девочка четырех лет стояла в странной задумчивости. Она постепенно опустилась на землю, сгребла в ладони песок, высыпала его с руки на руку и – тут же обратила взгляд свой на барышню, на маленькую светловолосую барышню, только что прибывшую гостью; обратила свой взгляд на нее, подверженная какому-то острому импульсу, который буквально вздернул ее с ног и бросил вперед. И девочка обрушилась на ту маленькую, тоненькую фигурку молодой девушки, облаченной в одежды исключительно самых светлых оттенков самых нежных тонов, самых близких к белому цвету, но избегающих на него походить и издалека.

Светловолосая барышня не только не удивилась тому, но приняла девочку как свою очень хорошую давнюю знакомую – словно с самого рождения знала ее; приобняла за плечи и попросила чуть-чуть подождать, пока будут выполнены все формальности.

Девочка была, как зачарованная, и как зачарованная она наблюдала, как барышня придиричиво, но, в то же время, предельно вежливо и непосредственно следила осмотром своих вещей – обязательной процедурой для всех новоприбывших. Кавалеры, облаченные в масть самого темного оттенка синего, крайне внимательно, но как-то необычно неловко и суетно выполняли свою работу – то и дело что-то валилось из рук то у одного, то у другого, и то и дело барышня вежливо поправляла их и указывала, как должно сложить все содержимое того или иного узелка и в каком порядке это следует – просто необходимо – делать; и сама в этом участвовала.

Она вела себя по-хозяйски и ничуть не торопила своих конвоиров. Когда же с вещами было кончено, то по всем правилам и традициям в сотый и сотый раз очередной гость переступил порог храма – нового, возведенного на том же самом месте, где уже не раз грудой обгоревших и разломанных досок раскидывались его предшественники; на миг барышня остановилась – ступив одной ногой на порог, слегка качнув носком и перешагнув его уже и правой.

Если бы посторонних пустили во внутрь в качестве зрителей, у них бы точно сложилось впечатление, что барышня уже здесь была, но когда-то давно, и, возможно, в другом храме – но новый возводили точной копией предыдущего; но это невозможно – по виду ей можно было дать от силы двадцать лет, тогда как последний разрушенный храм был сожжен более тридцати лет назад.

Но как она осматривалась!

Она оглядывалась так, будто вокруг было очень, очень красиво – сказочно красиво. Когда на самом-то деле ничего подобного не было – темные стены без всякой облицовки, еще слабо пахнущие лесом и создающим тем еще более волнительное ощущение пребывающим здесь, черный, как уголь, утопанный пол – каменная земля, на которой кое-где все же пыталась пробиться редкими пучками мелкая и очень тоненькая трава – и ничего больше.

Высокий потолок – очень высокий, очень много пространства было отведено пустоте, и если бы гость засмотрелся вверх, в тот ломанный, неправильных форм тоннель, то у него наверняка бы закружилось перед глазами все в серых стенах, ведущих куда-то одной кривой линией, одной полосой, и в непрекращающемся танце завивающейся, словно в кокон – куда-то, куда-то туда...

Подводя ее к заложенному предварительно – постоянно соблюдающимся в порядке и готовности принять очередную жертву – очагу еще не случившегося костра, конвоиры на шаг отступили.

В очередной раз, очередной артефакт запылал, запылал, казалось, ярче, чем все предыдущие – каждый раз так казалось девочке, исправно наблюдающей эту картину через щель в стене; каждая вещица полыхала светом, прекраснее того, которым озарялась эта земля, эта черная земля в последний раз – и не было конца тому, и не прекращалось то удивительное зрелище, и повторялось вновь и вновь; и в очередной раз не осталось и следа от той веры, что была запечатлена в чудесной вещице, кроме того, который тенью лег на светлое лицо маленькой, худенькой, прекрасной барышни.

Девочка, наблюдающая эту картину, заметила одну странность, одну только лишнюю деталь – барышня так и не коснулась земли, и упала навзничь на предусмотрительно спущенный с плеч тончайшей структуры широкий платок телесного цвета, ручьем белой реки разлившийся по черной земле.

XX61 год. Кому нужны артефакты?

*Хуже страха, который неотъемлемой
Частью осуществления своих желаний
Является – в самом начале того пути,
Того ледящего души и вверх – к самому небу —
Швыряющую ее лихо, без сожаленья —
Еще опаснее, намного опаснее восторг;
Он неприемлем.
Будь спокоен – это все то, что ты
Хотел осуществить – это все твоё;
Пойми, что мир вокруг тебя – он твой,
И твой только раз; то, что ты увидишь,
Тебя изменит – и побьет, и изменит тебе не раз
– но это твой мир, и нечего бояться.
Попробуй еще раз, попробуй же сейчас,
Попробуй снова!
Попробуй еще раз – как только захочешь.
Ведь это твой мир.
И все, что тебя расстроит – это часть
Твоего мира, это то, что ты и устроил —
Чтобы себя чтобы оправдать свои желания
Чтобы мечты свои осуществить, да!
И не пытайся отбросить это – не выйдет.
Ведь это твой мир.
Это твоя Золотая пора.*

На одном из званных вечеров – которые справедливо было бы заметить как нечто похожее скорее на сближища, сходки «о том, о другом» по-соседски и от невыносимого затишья, которым тогда томились милые люди, с некоторыми характерными для них, соответствующими их месту проживания странностями – разговор запелся круче обычного.

Беседы велись странные, как и подобает населявшим самые окраины молодым людям, особенно под неумолимым влиянием тихого вечера, которому невозможно было противиться. Беседами они обходили темы самые острые и вопросы разворачивали самые неоднозначные, и ни на что не приводили единого, общего, убедительного ответа – они и не давали ответов. Их целью, смыслом этих бесед было разговориться, развязать друг другу языки – и только потом уж наслушаться всякого, чтобы преисполненными разными мыслями разойтись по своим комнатам, по этажам дома белокаменного, служившего обителью для совершенно непохожих друг на друга людей, объединенных одной лишь целью – остаться в этих стенах подольше.

И у каждого на этот дом были свои виды.

Старожилом для всех здесь была благовидная молодая еще дама, возраст которой можно было только прикинуть, попытаться вычислить, исходя из известных и достоверных фактов – о ней, об этом доме и о прежних его хозяевах и жильцах. Она страдала очень известной, далеко не редкой, но практически неизлечимой и странной болезнью – при несокрушимом желании жить и прожить жизнь интересную – что у нее, общем-то, было и получалось, как казалось со стороны – она постоянно, за редким исключением находилась в терзающих ее душу сомнениях и недоверием была полна к каждому своему слову и ощущениям своим; она совершенно не знала, как и чем жить. И неизменно сокрушалась над тем – но и продолжала свои поиски – что ей, видимо, не хватает волшебства, раз так, как есть, она себя чувствует и не может перестать думать об этом. Не может перестать загадывать и прекратить, наконец, ощущать острый недостаток чего-то еще – чего-то большего, чего-то более значимого и сокровенного ей не хватало.

На этот дом, на его прошлое и на всех его обитателей – на все, что было связано с ним – она очень рассчитывала. Сама же жила здесь на правах потомка давнего друга прежних хозяев, портрет которой занимает весьма удачное место слева на стене большого коридора, который, в свою очередь, заворачивает все левее и левее и выражаясь даже пристроен на заднем дворе – а меж тем, отведенное ему пространство ничем не было занято, и только являлось еще одной, практически пустой комнатой, в которой едва ли кто жил, но, по общепринятой версии, все же была занята однажды – двадцать четыре года назад, личностью известной таким образом, что и сейчас, в настоящее время, все те, кто проживал нынче в этих стенах, собрались по оставленную ей память о себе, о золотой поре этого дома и о неудаче, постигшей ее и прежних хозяев.

Каждый занимал здесь свое почетное место. Например, старший сын друга прежнего хозяина, уже за первые дни своего пребывания в этих стенах заполучивший себе славу не менее противного скептика, чем отец его, поселился чуть не в подвале, и практически безвылазно копошился в архивах – он изучал все, что только можно было изучить, что только было у него на руках. Ему было интересно все, вплоть до сметы покупок – пунктик прежней хозяйки. Он придирался ко всему – и даже если не к чему было придраться. *возможных*

Он не верил, что смета покупок – это смета покупок, он же подозревал в ней зашифрованный список гостей, имена и сам факт приезда которых хозяева дома хотели скрыть; он постоянно, неустанно стучал по стенке самой разной очередностью и силой удара, вплоть до того, что сам же и придумал некий шифр, о котором не распространялся, но и сам пока не знал, куда его пристроить, но точно знал, что для чего-нибудь он пригодится – просто ничуть не сомневался в этом.

Но, в то же время, не был уверен ни в чем, кроме того, что следует продолжать работать с архивом, искать что-то сокрытое и разгадывать загадки, которых, быть может, и не было вовсе. Он прекрасно, более чем превосходно овладел этой наукой – если прекратит свою деятельность, свою бурную деятельность, то немедленно покатиться к пропасти в неизбежное помрачение рассудка. Он не мог жить без загадок.

И в этом они были очень схожи с уже упомянутой выше поселенкой.

И в этом был заключен их секрет бессмертия. Секрет их бессмертия.

Они называли вещи своими именами, но только так, как считали нужным – то есть, ни за что бы не признали вещь просто вещью, если были уверены – да и только хотели того – получить от нее что-то большее, какую-то выгоду, не предписанную функционалом. Они сами определяли свои возможности и возможности использования любой ситуации, любого предмета и всякого разговора – они выворачивали каждое слово так, что превращали их в единую мелодичную историю на пользу себе, и представляли все в таком свете, так хорошо, что одно только «но» напоминало о том, что не с блистательным прагматизмом дело имеется – но было в том и наследие прежнего хозяина дома, прагматика совершенного, которого эти двое гостей застали еще – на все, на все они ратовали и вновь не находили себе места, и вновь, даже самая мелодичная история не приходилась по вкусу им, и вновь, и снова и снова все опять было «НЕ ТО».

Они оба очень рассчитывали на артефакты, что в стенах этого дома и ими сокрыты, а потому каждый день, проведенный здесь, они проживали все с большим волнением, все чаще хотелось сорваться обоим и окунуться с головой в мир погребенный прошлых тайн и секретов – но это был мир чужих тайн и секретов, а они гости, и гостями с каждым днем оставались, и даже если бы еще задержали хоть на пару лет – и тогда бы таковыми являлись; у этого дома в настоящее время была только одна хозяйка. Но ее здесь не было. Ее здесь не было уже восемь лет.

Вторая дочь прежних хозяев исчезла еще в пятьдесят третьем году, и с тех пор ни слуху, ни духу не было о ней. Но невозможно пропасть незаметно на этих землях – у самой границы, у самого подножия гор: множество патрулей, караулов, шныряющих повсюду гостей неприкажных и сумасшедших – уж кто-то бы выдал. А раз не было и подтверждения тому, что девушки нет в живых больше – то и говорить о таком не приходилось, и хозяйкой дому белокаменному она считалась.

Но дом этот всегда был полон гостей, и за редким исключением очередной такой не оставлял надежд своих заметить что-то чуть более волшебное, едва-едва чудесное в стенах его; дом этот знал многих героев – почти всех, до единого героев этой земли, а потому привлекал к себе внимание и манил неизменно, с каждым годом, в любую пору еще гостей, других гостей; и каждый из них оставлял свои следы в стенах белокаменных, и каждый – за редким исключением – находил, что искал.

И дом этот и правда хранил множество артефактов, неисчерпаемое количество которых только и питало эти надежды – только надежды; когда же и вправду рука гостя касалась того, что искал он здесь – вот тогда надежды рассыпались прямо перед чертой исполнения желания заветного – не оправдывали себя артефакты, не казались тем, что жаждали увидеть искатели и охотники до них, не притворялись чем-то расчудесным и вовсе не напоминали палочку волшебную – и желания, как такое, не исполняли, и не исцеляли души обедневшие на веру и вдохновение – особенно; нет, артефакты – они просто были. БЫЛИ. И все.

Но сокрушался скептик вновь над этим обстоятельством – непоколебимым, очевидным, много, много раз на личном опыте узанным и повторенном, и снова не верил, не мог поверить в то, что артефакт – это просто артефакт, которое название ничем не обязано представиться как следует по соответствию желанию его, его заветным представлением – о которых, верные своим чаяниям, надеждам без конца писали, завещали детям своим уже опробовавшие то гости стен этих белокаменных.

И вновь вещь не казалась вещью, и буквы – шифром. А дом любил своих гостей, а таких – коих большинство, за редким исключением – особенно.

Но этот дом не терпел конфликты между обитателями; как только семя раздора было пущено – так тотчас же, тут же прекращались все случайные отсветы на самые потаенные углы старого комода, блики на стене, которые ложились точно по направлению поисков – по направ-

лению верного пути искателя артефактов, этими стенами сокрытых; уже покинувшими их гостями и хозяевами, оставившими тот путь, сокрытых.

И вновь у порога, затормозив лишь на миг и ухватившись рукой за дверной косяк, показалось – в один момент, в очередной раз – молодой еще даме, обладательнице прекрасных золотых локонов, убранных в горделивый пучок, и прямо под шляпку – что есть еще небольшая надежда на то, что все выйдет, как хочется, что все будет так, потому что так должно быть – и оправдаются, сбудутся все ее чаяния, и вздохнет она полной грудью, и заживет таким миром, который прольется дождем золотым вокруг нее, и тогда уже не покинет она этот дом с сожалением, и тогда уже не будет сомнений у нее, что это ее мир, и именно в таком мире она хочет жить.

Но как она в этом сомневалась!

Внешне она была неотразима, аккуратна и превосходно владела тем своим образом, к которому окружающий ее мир и все его представители питали больше симпатий – настолько хорошо владела им, что ей даже было в нем комфортно; настолько сжилась с ним, что уже не выходила из-под этой красивой картинки, а казалась, стала ей; не выходила из этого образа даже тогда, когда оставалась наедине с собой – а такое случалось очень часто – даже когда никто, никто и ничто не могло бы ее потревожить, когда ничто не обязывало за этот образ держаться.

...Она настолько сжилась с ним, что без него – чего эта молодая еще дама, обладательница прекрасных золотых локонов даже представлять не хотела, до того ужасным то ей казалось – она чувствовала себя незащищенной, выброшенной из колеи своей, как рыба на суше, как белое – точно по черному.

Но белое с черным владеют гармонией, а в этом же случае белое с черным разнилось, и почему, почему же казалось ей – одной из таких, подобных ей, которым подобна она – казалось, что иначе быть невозможно наравне, на одном уровне с миром своим чудесным, с миром своих чудес, который она насыщает каждым своим касанием мира, ее окружающего – чего она, к сожалению, не понимала, и лишь изредка догадывалась, но догадывалась не посредством неожиданно или сопоставлено с чем-то пришедшей мысли, а самим существом своим; пускай нелюбимого, пускай, не такого – он не может таким быть всегда – какой бы навсегда укрыл ее, укутал золотым покрывалом – пускай даже совсем не такого!

...Но это был ее мир. Ее мир, со всеми его несовпадениями и случайностями, со всеми его отличиями от желанного мира и со всем его многообразием форм и теорий развития самого существа, замкнутого в кольцо бесконечного, неуловимого в том развитии движения этого кольца, из которого, точно по правилам, но всегда вопреки – всегда вопреки выбивался, вырывался, не находилось места ему – очередной герой; очередной такой единственный и неповторимый, первый и повторяющий саму поступь своих предшественников. Которому предстояло вновь наследить и оставить в память о себе, о той поре, когда наконец-то. Опять, снова и снова, на один миг этот мир, окружающий всех его обитателей, включая и героев, послушников – всех случайных наблюдателей его собственных форм и выражений тех самым чудес, которых они так жаждали и о которых в смятении и от невыносимой усталости – рано или поздно, своевременно ли, но каждого оно тяготило —думать не переставая уже не замечали, не узнавали – никак – озарялся, был укутан желанным золотым покрывалом, и лишь на миг этот мир в таком его проявлении бессмертен был, бесконечен.

Но мир и так бесконечен. Для чего же нужны герои, эти великолепные персонажи, волшебные артефакты единственного, родного мира?

Кому нужны герои?

Кому нужны артефакты?

А в этом доме их было много. И многим они были нужны.

Так кто же те люди – молодая еще дама, обладательница прекрасных золотых локонов, аккуратно убранных под шляпку, и скептик, неудержимый скептик – кто же эти наследники прагматизма предыдущего хозяина этого дома?

Все они – все, кто был здесь, кто находится здесь, кто еще только оставил свой след в мечтах переступить порог белого дома – все они наблюдатели.

Все они, в общем-то, родные друг другу люди – изначально родные, по одному только факту своего, так сказать, существования – действительного существования; и всем им нужны артефакты, и у каждого из них свой герой – единый герой, их единственный. *действительно*

Но с родными людьми у них часто проблемы... Их недостаток. За редким исключением.

И каждый из них, в своем роде, уже только по этому – общий герой.

XX31 – 37гг. Свой герой. Свой самый близкий друг

*Всем нам, каждому, нужен близкий друг.
Тогда все пойдет по-правильному.
Тогда все, что имеете вы, будет укладываться
В понятия вашего идеального, совершенного,
Оптимального, наконец, окружающими вас условиями,
Мира. Если нет такого друга – то вас все будет
Чего-то не хватать. Какая бы большая и светлая любовь
Не посетила вас, какие бы прекрасные люди вас не окружали,
Сколько бы у вас не было настоящих – действительных
Единомышленников – вам все равно будет не хватать
Его, такого друга. Вам без него не справиться с этим миром.
Никому без него не справиться с теми ловушками,
Что вам и же расставлены. И никем его не заменить.
Он просто должен быть.
Он должен быть у вас. У каждого.
У каждого должен быть такой друг.
Свой самый близкий друг.
И тогда – вы герой.*

– Мы не герои. Так сказал мне человек, в которого я больше всего верил. И не обошелся этим. Ему было недостаточно. И она продолжила словами: героем мне не стать.

А я не верил ей. Не верил, но не мог ничего сказать в ответ. Не мог не слушать – я был очарован. Очарован ее словами, ходом ее мыслей – полетом, тем полетом мысли юной совсем девушки, которая совсем еще себя не оправдала – ни перед кем. Но уже была разочарована.

Была разочарована в себе и в своих силах, считала себя глупой, маленькой, смешной.

Была в глазах моих наивной, и я наивно думал, что эти ее мысли только вред собою принесут. А меж тем, при том, что она ведь действительно была тогда совсем еще маленькой и глупой, но мысли очень верные хранила глубоко внутри... И так надежно, что никакие самые гнусные сомнения и трусости порок не смог ее избавить от счастья владения ими, счастья их осознания.

Она говорила, что для нее каждый день – глава истории, и что каждый миг наполнен смыслом; что ей в мире неспроста. Но что в глазах других людей она подозревала себя сделанной из бумаги, и даже допускала, что из фанеры.

Но замечала, что, мол, чтобы быть не из фанеры, нужно хоть чуточку героем быть. Мол, для себя... Среди своих.

И, как говорила, среди множества, множества людей.

И что можем быть мы лишь чуточку героями. Что это, может, и залог счастливой жизни...

И жить хотя бы там, говорила, нужно, где любишь воздух; чтобы стоять на камне того берега, где все тебя объединяет с этим миром. Как говорила! Говорила, что со всеми, со множеством миров, со всем тем множеством миров, что непостижимы...

Говорила, что мы не герои. Что мы не должны гореть.

Но что мы можем, можем и обязаны отчасти – от имени времен был и на всех нас единых – сиять, сиять по мере, по мере нашей силы.

И не жалеть, и в пропасть не сводить себя, и не бросать лицом об землю; земля под ногами. И что бы не случилось, говорила, надо помнить – земля под ногами.

Говорила: «Так обопрись же на нее! Ведь когда-то здесь, на этом самом месте, один момент от жизни всей неодолимой стоял герой. В твоём лице герой».

У нее не было близкого друга. И в том была ее беда.

И я не мог ей в том помочь – я был не тем. Меж тем как для нас всех, для всех моих друзей и даже для всех тех, кого мы не знали вовсе – для всех она была тем человеком, тем единственным и незаменимым.

Но лишена была сама такой заботы. Такой опеки. Такого слушателя.

И без помощника такого – и без такой любви – была обречена сгореть намного раньше срока.

Гораздо раньше, чем шагнули вдаль ее герои.

Вперед, вперед она их провела – она их подвела к черте начала их большой дороги; их пути, их единого пути.

Но без нее черту переступили мы.

Без нашей волшебницы.

Часть вторая. Города больших дорог

Подчиняясь законам этого мира.

XX34 год. На самой границе

*В этом месте человек может пострадать
Только от слишком неосторожных действий
Или по чистой случайности.
Это пропасти граница. Это магия.
Вот ты говоришь, что жизнь – это магия.
А в жизни и не такое бывает.
А наша граница в порядок этот абсурд
Приводит, милая девочка.*

С тех самых пор, когда на границе появилась барышня маленького роста и от цвета волос до оттенка обуви вся близких к белому цвету самых демократичных тонах, так с того самого момента – с четырех лет – Ливанна, девочка с той границы, которую справедливо было бы назвать коренной по происхождению к ней, ни на шаг не отступала от нее; и в буквальном смысле прочно прикрепила к ней и была напарницей во всех ее делах.

А без дела барышня и на самой границе не сидела.

Когда полуживые, чахлые и вялые другие обитатели тех мест едва тащились по путям широким каменной земли, припорошенной редким песком, пылью подымавшимся от легко движения ветра – неотступно дежурившего там – и прямо в глаз – а им и все равно – то эта поселенка очень точно знала, что следует ей делать, куда нужно идти и чем заняться стоит в момент определенный, в час любой.

И ее нисколько не смущала та атмосфера, что их окружала; и то, что девочке Ливанне было всего четыре полных лет, помехой не считала и едва задумывалась она о том – всего пару раз – что девочки в том возрасте ведут себя иначе. Где бы они ни были. И даже на границе.

А на границе в общем, чем заняться было. Тем более, что руки живой в полной мере этой характеристики окрестности почти не знали. Из всего населения, довольно многочисленного и регулярно, почти что каждый день все пополняемого новыми приезжими, к месту определенными живые души представляли собой одиночек в численном составе трех человек – моменту приезда светловолосой барышни именем Элеона.

С одним из них встретиться было не трудно, другой же – это девочке, а третий очень точно ходил сам по себе и не появлялся на больших дорогах, и сторонился знакомства всякого, любого, даже случайного пересечения. Но в том не было пугливости, как могло показаться – нет, совсем, ничуть; была в той нелюдимости сокрытая живая восприимчивость к дурной атмосфере и каменной земле. А раз так, то нетрудно было ему скрыться, убрать с глаз долой проклятую картинку.

И скрылся этот человек в глубине густых лесов у самой границы, у самой пропасти, у самой бездны, у самой пустоты занявшими большой клочок земли. Невесть откуда взявшись, они совсем не вписывались в общий портрет местности...

Зато в лесу том вписывалось все.

Чтобы не оказалось, какая бы вещица и кто бы – и в любом наряде – какой бы наружности и какой манеры не ступил на его тропы – все вписывалось безусловно, ничто не оставалось безучастно к чужеродному предмету – и хвоя ложилась так, что по направлению сглаживала точно острые углы костяной резной шкатулки, принесенной барышней Элеоной, и река струи-

лась так, что в такт с отливами на гладкой поверхности этой вещицы отвечали тихому шороху ветра по траве, деревьям мохнатым и уже упомянутой реке.

Речка протекала извилисто, и смело огибала все прямые тропы на своем пути, и вслед за ней убегала очередная случайная мысль, приходящая девочке в голову, одна из тех, которые никак не удавалось выстроить в какую-либо последовательность. Эти размышления по реке скользили и никак не представляли собой хотя бы одну общую – целостную – картину.

Вот чему учат детей на самой границе? Но они с самых ранних лет знают, что такое целостность семьи, при том, что ни единой семьи в этих поселениях не было; и дети здесь очень быстро растут.

Они точно также, как и в городах больших дорог скачут по своим, скачут вокруг и около, исчезают и пропадают и точно также в окошки своих домов выглядывают соседей и наблюдают, как солнце садится, как оно аккуратно, а иногда – и как неродное – заходит за горизонт, и тот его поглощает абсолютно, оставляя лишь прекрасный цветной след.

Дети здесь очень наблюдательны и чаще всего молчаливы; и у каждого из них одна беда – у них дома. У них нет дома по определению того места, где они растут. Места, где можно выжить только с кем-то, только держась кого-то и только притом, что обязательно ты дашь что-то в ответ; но все здесь порознь.

В этом состоит смертельная нестыковка с одним из правил этого мира – с тем правилом, которое говорит о том, что люди все по своей природе эгоистичны, но коллективны. Здесь же коллектив никогда не будет целостным, а при малейшей попытке поддаться эгоистическим настроениям у несчастного тотчас же снесет крышу, и никогда, и никогда он больше не найдет себя в этом месте – пока он у самой границы.

Но детей учили целостности семейной, рассказывали и о том, как, бывает, люди дружат – так дружат крепко, что никакими обстоятельствами, никакими самыми глупыми случайностями их не разбить.

Эти дети слушали и знали про других людей – о тех, которые владеют мудростью о том, что нельзя, нельзя, ни за что нельзя расставаться друг с другом по каким-либо соображениям.

Эти дети слушали сказки о людях живых; о тех, что заселяют города больших дорог, где растут герои – из таких же вот, как и они, детей.

О них они мечтали, и не было интереснее ничего им, как только успеть еще обговорить о том с новыми приезжими, их новыми соседями – пока они те еще, пока они еще из тех людей, пока они еще живые люди.

Они каждый раз удивляли этих маленьких детей. Граница составляла свой мир, и составляла свое обособленное существование на краешке большого мира, и там не было причин кого-то принимать или отталкивать бездумно, там не было необходимости загадывать о большем и большее искать; те люди не владели умением прощать и оскорбляться – им это было ни к чему.

Но те, из городов больших дорог – люди живые – какие они были! Во всем, что они делали, был какой-то смысл, все – всякое движение их, всякая идея и слово любое – все подчинялось какой-то высшей цели, большему интересу – и все им было интересно, все без исключения.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.